



Арсений Рогинский

Память и свобода, или как много прошлого существует в России.

Дискуссия о сталинизме в советском и пост-советском российском обществе

Глубокоуважаемые дамы и господа !

Во-первых, я хочу извиниться за то, что вам придется слушать мое выступление в переводе.

Второе – я буду говорить не о российской памяти как таковой, а о памяти о советском прошлом, и даже уже – о памяти о сталинизме, о памяти о советском терроре. Но именно эта память играет важную роль в сегодняшней России. И именно этой памятью занимается общественная организация «Мемориал», с которой я связан уже более 20 лет. Основные тезисы сегодняшнего выступления я обсуждал с коллегами по Мемориалу, в первую очередь – с Александром Даниэлем. Им – моя благодарность.

И последнее – я надеюсь, что после выступления у нас еще останется время на небольшую дискуссию, во всяком случае, на вопросы и ответы.

Теперь - к делу.

Россию часто называют «страной с непредсказуемым прошлым».

Но это же самое с не меньшими основаниями можно сказать и о многих других странах и нациях, если не о большинстве. В сущности, любая страна,

пережившая национальную травму, становится страной с непредсказуемым прошлым. И если эта травма достаточно серьезна, то состояние непредсказуемости может затянуться надолго.

Россия в двадцатом веке пережила не просто травму. Подобно Германии, Россия пережила национальную катастрофу. Но в отличие от Германии, катастрофа длилась не 12, а 70 лет. И даже если отбросить все почти что не кровавые мерзости послесталинского периода и взять в расчет только эпоху массовых террористических кампаний, с 1918 до 1953, то это все равно составит 35 лет - втрое больше, чем господство «национального социализма» в Германии.

В течение этих 35 лет через Гулаг прошли десятки миллионов. Только по политическим обвинениям – чаще всего, вымышленным или раздутым, - были арестованы около 5 миллионов человек; более миллиона из них были расстреляны, остальные – отправлены в лагеря. Более 6,5 миллионов оказались в специальных трудовых поселках лагерного типа на Севере, в Сибири и Казахстане, вообще безо всяких индивидуальных обвинений, в результате массовых депортаций.

Кроме того, к числу прямых жертв сталинизма можно отнести более 6 миллионов крестьян (отнюдь не только украинцев, как многие считают), которые погибли во время искусственного голода 1932-1933 гг.

Этот перечень далеко не исчерпывающий. Но и из него уже очевидно: без учета продолжительности и масштаба трагедии анализ сегодняшней ситуации будет поверхностен и неадекватен.

Террор как средство управления страной – всегда оставался неизменным атрибутом советской действительности. Немало сказано и написано о сталинизме как системе, основным инструментом которой было массовое политическое насилие; гораздо меньше – о действии этого инструмента на тех, кого насилие непосредственно не коснулось, о его влиянии на несколько поколений советских людей.

Главное наследие этих десятилетий – это страх, перманентный, укоренившийся в подсознании страх маленького человека перед всемогуществом государства. Власть может сделать с тобой все, что ей заблагорассудится, - это мы знаем твердо. Более того, в глубине души многие считают, что власть *имеет право* делать с ними все, что угодно. Увы, остатки этого мистического ужаса перед государством передались и новым поколениям.

Другое последствие террора – это атомизация общества: невероятная разобщенность людей, тотальное взаимное недоверие, искоренение чувства человеческой солидарности, уничтожение или ослабление любых горизонтальных связей между людьми, даже родственников. Взамен – экспансия государства в общественные отношения, выстраивание жесткой иерархической социальной системы «государство-человек». Собственно, в огосударствлении общества и состояла одна из сверхзадач террора, цель социального инжинеринга, осуществлявшегося Сталиным и его подручными.

Еще одно: ксенофобия – не только национальная ксенофобия, но и мощное отторжение всего чужого, выходящего вон из ряда. Ксенофобия как продолжение конформизма; агрессивный национализм как продолжение ксенофобии.

Наконец, условие выживания - двоемыслие и его неизбежное следствие – цинизм и полная релятивизация нравственных ценностей.

Все это - школа сталинизма (включая, для простоты, в это понятие и прелюдию к сталинизму - гекатомбы красного террора первых послереволюционных лет). Страна хорошо и надолго усвоила преподанный ей курс обучения: все названные психологические аспекты травмы в той или степени и по сей день присутствуют в массовом сознании. Террор оказался весьма успешным педагогическим мероприятием.

* * *

Наиболее одиозные практики сталинизма были выведены из употребления вскоре после смерти их создателя. И сразу же общество разделилось на два

лагеря, находящихся в непримиримой борьбе друг с другом: «сталинистов» и «антисталинистов».

1956 год, XX съезд партии, доклад на нем Хрущева не создали эти два лагеря – они лишь дали им название. «Сталинистами» (тогда это был бранный эпитет) стали называть сторонников жесткой, консервативной линии во внутренней и внешней политике, «антисталинистами» - их оппонентов, стремившихся к модернизации советского общества. К этому моменту уже ушли в прошлое и массовый государственный террор, и классический сталинизм как совокупность конкретных политических технологий, и сам Сталин. Поэтому именование охранительно-реакционной тенденции «сталинизмом», а либеральной и демократической - «антисталинизмом», означало, что фокусом **актуальных** политических дискуссий становится **историческая** проблематика.

В течение следующих пятидесяти пяти лет эта неординарная ситуация повторилась не единожды.

Проблема заключалась в том, что еще при Хрущеве «сверху» был наложен жесткий запрет на любые попытки анализа и осмысления *исторического сталинизма*. Предписано было относиться к нему как к случайному эксцессу, уродливому отклонению от магистральной линии истории. Ни в коем случае не дозволялось рассматривать сталинизм как исторический феномен, который и возник неслучайно, и развивался в соответствии с определенной исторической логикой. Характерно, что само слово «сталинизм», форма которого намекала на системный характер явления, находилось под запретом, даже устное употребление его в публичной сфере считалось признаком нелояльности. Разрешен к употреблению был эвфемизм «культ личности».

Брежневское же руководство сочло за благо просто снять вопрос с повестки дня. В течение двух с лишним десятилетий, с 64-го по 87-й годы сталинизм вообще никак не назывался – ни сталинизмом, ни культом личности, за единичными исключениями, о нем просто не упоминали. Это не значит, что исчезла сама коллизия; напротив, она обострилась до предела. Но она была полностью вытеснена из официального употребления, сохранившись лишь в

художественной литературе и кинематографе, в виде многочисленных аллюзий и намеков.

Но уже с 1950-х годов в СССР существовал Самиздат – система размножения и распространения рукописей, происходящих вне государственного контроля. В Самиздат и ушла дискуссия о сталинизме. Культура Самиздата насквозь пропитана пафосом антисталинизма. Именно вокруг дискуссии о сталинизме начало консолидироваться численно небольшое, но чрезвычайно активное сообщество, участников которого позднее назвали диссидентами. Во второй половине 1960-х Самиздат начал наполняться текстами протеста против актуальных политических преследований, казалось бы, к сталинизму как таковому прямого отношения не имеющими. И в этих текстах постоянно звучала мысль о недавнем трагическом прошлом как **основании** для сегодняшней гражданской озабоченности. Приведу слова из «Гражданского обращения» - листовки 1965 года, которая призывала граждан принять участие в уличной манифестации в защиту права и которую принято считать свидетельством о рождении правозащитного движения в СССР.

«В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем»

Таким образом, **в Советском Союзе актуальная борьба за гражданскую свободу оказалась неразрывно связана с «борьбой за историю», с сохранением и осмыслением памяти о прошлом.** Прежде всего – памяти о сталинском терроре.

Тем временем сама память о сталинизме надолго, на несколько десятилетий, разделилась на два потока.

Один поток – личная и семейная память, основывавшаяся на жизненном опыте жертв террора и их близких. Она существовала подспудно и ощущалась как запретное или полузапретное знание. Эту память не афишировали, ее не выносили за пределы узкого круга близких друзей и родственников, от нее оберегали детей. Эта память была предметной, фактографической, предельно конкретной. Анализ, понимание в ней почти не присутствовали.

Другой поток – диссидентская рефлексия. Мемуары, авторы которых рискнули выпустить их в Самиздат, историческая публицистика, переводы западных исследований, романы, стихи.

Увы, два эти потока между собой почти не пересекались.

Консолидация этих потоков памяти едва не состоялась в эпоху Перестройки. В 1987-1989 годах и запретные до того семейные воспоминания, и диссидентская рефлексия одновременно вылились на страницы массовой печати. Среди проблем, бурно обсуждавшихся по всей стране, в том числе и на многотысячных митингах, историческая проблематика играла ключевую роль. Казалось, что национальный консенсус – по крайней мере, относительно сталинизма – уже достигнут или вот-вот будет достигнут. Если не всеобщими, то, во всяком случае, преобладающими в публичном пространстве стали мнения, что власть вовсе не святыня, что СССР – никакая не осажденная крепость, что никто не хочет нас завоевывать, что никакого «особого пути» у России нет - наоборот, у нас тот же путь демократического развития, что и у других европейских стран. Наконец, что советский террор ничем не может быть оправдан.

Конечно, массам интересны были не исторические проблемы сами по себе. Взрыв интереса к отечественной истории был связан с текущей политикой, с вопросом о легитимности коммунистического режима, ответственного за массовые преступления. Отчасти именно поэтому потерпел неудачу Горбачев, возглавивший движение за «обновление социализма». Осуждая сталинизм и при этом не отмежевываясь от коммунистического режима как такового, он рубил сук, на котором сидел. К чести его надо сказать, что это соображение его не останавливало. Но несомненно, что в Перестройку возвращение памяти и движение за политическую и гражданскую свободу вновь совпали друг с другом.

Однако осмысление прошлого оказалось более тяжелой и трудной задачей, чем этого можно было ожидать. Уже в 90-е годы перестроечный консенсус сохранился в полном объеме лишь в среде либеральной интеллигенции.

Почему?

Назову лишь главные трудности, с которыми столкнулось массовое сознание, пытающееся освоить новое знание и новое понимание советского террора.

Оказалось не так-то просто распределить амплуа злодеев и праведников среди акторов исторического процесса. В рамках отечественной истории не находилось тех сил, на которые можно было бы возложить функции абсолютного Добра и абсолютного Зла.

А это необходимо массовому сознанию. Чтобы освоить историческую трагедию, люди должны отождествить себя с одной из этих ролей. Желательно, конечно, с Добром, хотя в крайнем случае можно, как это случилось в Германии, отождествить себя и со Злом – чтобы отмежеваться от него. Размытость границы между «жертвой» и «палачом», характерная для многих эпизодов советского террора, имела здесь роковое значение. Публика не сумела выстроить для себя ту точку опоры, ту систему нравственных координат, исходя из которых она могла бы судить о прошлом.

Массовое сознание сравнительно легко приняло в себя сочувственную память о жертвах террора. Но оно совсем не готово было задуматься ни над тем, какие силы, были организаторами жертвоприношения, ни над тем, кому или чему были принесены эти жертвы, ни даже назвать преступление преступлением. Оказалось, что людям проще воспринимать национальную катастрофу как род стихийного бедствия, за которое никто не несет ответственности, чем признать для себя преступным государство и его лидеров.

«Суд истории» не состоялся и не мог состояться ввиду неуверенности истцов в том, кто же, собственно говоря, ответчик.

Еще одно. В отличие от нацистов, которые в основном убивали «чужих» - евреев, поляков, русских - мы убивали в основном «своих», и сознание отказывается принимать этот факт.

В памяти о терроре мы не в состоянии однозначно распределить главные роли, не в состоянии расставить по местам местоимения «мы» и «они». Трудность отчуждения зла является главным препятствием к формированию полноценного образа террора и усугубляет травматический характер национальной памяти.

Кстати, у наших восточноевропейских соседей, от Польши до Балтии, нет таких тяжелых проблем с освоением прошлого, как в России. Они, обозначив советский режим как принесенный извне, как «чужой» или попросту оккупационный, легко идентифицируют себя с жертвами, или борцами, или с теми и другими одновременно – и никогда с палачами. Конечно, это отождествление не всегда находится в согласии с историческим знанием; но мы не о знании говорим, а о памяти.

* *

Как я уже сказал, борьба за национальную память изначально была борьбой политической. Сталинисты и антисталинисты отождествляли себя соответственно первые с идеей «порядка», вторые – с идеей «свободы». В брежневскую эпоху власть, естественно отождествлявшая себя с «порядком», была властью сталинистской. Сталинистской не только по генеалогии и институциям, унаследованным от эпохи сталинской, но и по сути – за вычетом массового террора, конечно.

На рубеже 1990-х победила идея свободы. И во власти, и в значительной, как нам казалось тогда, части населения.

Последовавший немедленно вслед за этим крах СССР, экономический шок, политический хаос, внутренний кризис самой новорожденной российской демократии – все это заставило многих и многих сторонников «свободы» перейти на сторону «порядка». Соответственно, пошли на убыль и антисталинистские настроения. Ельцинскую элиту это особенно не тревожило. Она не покладая рук строила в стране Рынок, полагая, что все остальное наладится само собой.

Для нашей темы особо важны психологические последствия распада СССР. Если коллапс экономики и танковая стрельба по парламенту обеспечили катастрофическое падение престижа демократии, то гибель Советского Союза – привела к утрате идентичности людьми, населяющими самый большой обломок советской цивилизации - Российскую Федерацию. Ранее эта идентичность определялась формулой «советский народ», теперь никакого такого «советского народа» больше быть не могло по определению. Но взамен тоже никто ничего не придумал. Естественно, что многие в поисках определения своего «мы» обратились к советскому прошлому, при этом вытесняя или отвергая воспоминания о кровавых и грязных страницах этого прошлого. Да и мечта о порядке привычно связывалась с воспоминанием о «сильном» государстве, которое мы потеряли и теперь вновь склонны были сакрализировать его образ. Но ведь сакрализация государства – это основа основ сталинистского мироощущения!

А для нового поколения, социализировавшегося в 90-е, советское прошлое, которого они толком и не помнили, легко становилось мифом о «золотом веке».

Массовая переоценка ценностей стала неизбежной.

Содержание второй половины 1990-х – это как раз процесс массовой переоценки общественных ценностей, постепенная маргинализация либеральных настроений, вытеснение памяти о терроре из национального сознания

* * *

Правительство Путина, пришедшее к власти на волне новых настроений, упразднило или, по крайней мере, резко ограничило политическую демократию и некоторые гражданские свободы. Замечу, что эволюция России от демократии к авторитаризму не лежит только на совести правительства Путина: она была обусловлена деградацией российской демократии и одобрена значительной частью населения.

В рамках нашей темы – память и свобода - важно подчеркнуть два обстоятельства.

Первое: шаги по ограничению свободы и демократии не могли не сопровождаться очередным переосмыслением советской истории – переосмыслением в духе, противоположном перестроечному. Это переосмысление не было изобретением команды Путина: оно зрело в недрах постсоветского российского общества, путинские идеологи лишь артикулировали его.

Второе: ограничение свободы и демократии само по себе требовало определенной реабилитации советского прошлого. В самом деле: имитация демократических процедур, зависимость судов, невозможность свободной общественной самодеятельности, все это - воскрешение советских политических практик, все это стимулировало если не апологию, то, по крайней мере, оправдание советского прошлого.

К тому же если население России, как мы говорили, ощущало после распада СССР дефицит привычной национальной идентичности, то новая власть, после осени 93-го года, испытывала постоянный дефицит легитимности. Замечу наперед: продолжает испытывать – с нарастающей болезненностью - до сих пор. И власть, и население искали способ восполнить свои дефициты в образе великого прошлого Великой России, наследником которой является Россия нынешняя. В ельцинскую эпоху власть обращалась преимущественно к России дореволюционной, к образам Петра I, Александра II, Столыпина. Но уже тогда, в 1990-е, концепция Великой России постепенно и подспудно прирастала - на уровне массового сознания - советским периодом, в частности - сталинской эпохой. С приходом Путина этот процесс ускорился и стал частью совершенно нового для постсоветской России явления – системно формирующейся *государственной исторической политики*.

Приведу лишь некоторые из множества примеров такой политики, преимущественно из области символов, указывающих на ее направление. Принятие в конце 2000-го года новой Россией старого советского государственного гимна, заново отредактированного и очищенного от явных анахронизмов, вроде упоминания о Коммунистической партии. Возвращение в армию красного знамени. Восстановление в 2000-м снятой в 1991-м на здании ФСБ на Лубянке мемориальной доски многолетнему шефу КГБ Андропову. В начале 2000-х власть все чаще заговаривает о том, что у нас слишком много

слишком разных учебников истории и нужно создать такой, который бы способствовал «воспитанию патриотизма и исторического оптимизма». В ноябре 2003 глава государства на встрече с российскими историками (сам по себе факт такой встречи более чем примечателен!) заявил буквально следующее: «в свое время историки напирали на негатив, так как была задача разрушить прежнюю систему. Сейчас у нас иная, созидательная задача. При этом необходимо снять всю шелуху и пену, которые за эти годы наслоились». А полтора года спустя, в послании Федеральному собранию, Путин назвал крушение Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой [XX] века». Такого рода высказывания - уже готовые формулы для конструирования национальной памяти.

В своих усилиях создать позитивный образ советской истории власть не могла не обратиться к памяти о Великой Отечественной войне – единственном событии этой истории, в генеральной оценке которого общественное мнение всегда было единодушным. Правда, с этой темой тоже не все обстояло просто: реальная память о реальной войне, равно как и память, сохраненная в образах отечественной литературы и кинематографа 1960-х, была отчетливо антисталинистской. (Недаром еще Хрущев на XX съезде посвятил изрядную часть своей речи ответственности Сталина за военные поражения). Но зато в памяти о войне Абсолютное Зло – гитлеровская агрессия – налицо, и поэтому все, что ему противостоит, легко представить как Абсолютное Добро. И в чем, как не в памяти о событиях действительно великих, может обрести точку опоры формирующееся заново национальное самосознание?

В 2005 торжественно, как никогда раньше в постсоветское время, празднуется юбилей победы. Мероприятия, проводимые по всей стране, посвящены почти исключительно Победе и только ей. Вопросы о цене Победы в них и близко нет. Не вспоминают об ошибках и преступлениях руководства, приведших к катастрофам 41-42 го, о чудовищных военных потерях, о миллионах солдат, попавших в плен, о миллионах «остарбайтеров» - гражданских людей, насильственно вывезенных оккупантами на работы в Германию, о миллионах советских граждан, в годы войны депортированных в дальние регионы Союза. Все это плохо вписывалось в лубок, предлагаемый населению в качестве национальной истории. Выход был найден простой:

многогранная, по преимуществу трагическая, память о войне была подменена организаторами торжеств памятью об одном счастливом дне – Дне Победы.

«Россия – страна великих побед»; вот базовая формула путинской исторической политики – уже не для встреч с историками, а для массового сознания.

В целом «проект Путина» по конструированию национальной идентичности оказался довольно удачным. Массированная атака телевидения, подкрепленная новой (впрочем, во многом старой) исторической риторикой власти, принесла свои плоды: в массовом сознании произошла сцепка между прошлым и настоящим. Сцепка эта выглядит примерно так:

- в стране вновь воцарился порядок ;

- мы вновь обрели наше славное прошлое, где мы, русские – хорошие, добрые, героические: мы спасли человечество в 45-м ; великие стройки 1930-х, покорение Арктики, победы в космосе – это все мы;

- в итоге мы вновь обрели Родину – Великую Россию, и тем самым обрели себя. Теперь мы вновь - подданные великой державы, которую все уважают, а не какие-то там невразумительные граждане какого-то демократического общества, от которого, как выяснилось, никакого толку.

И вместе с этим новым, в сравнении с 1990-ми годами, ощущением гордости за себя и свою принадлежность к великой стране в том же сознании совершенно, казалось бы, естественно, сразу же возродились и укрепились - тоже, конечно, не без помощи власти - старые советские (а во многом и досоветские) стереотипы.

О Западе, который как был всегда нашим врагом, источником всех наших бед, так и остался, а в 1990-е годы чуть не поставил нас на колени;

О «пятой колонне», которая действует по заказу этого врага внутри страны;

О враждебности (как вариант – черной неблагодарности) стран-соседей;

И множество других.

Одновременно, тоже как бы сама собой, безо всяких подталкиваний сверху, возникает новая популярность Сталина. Не Сталина – убийцы и организатора террора, а Сталина – мудрого государственного деятеля, великого модернизатора, главное – Сталина – победителя в войне. Конечно, это не реальный, «исторический» Сталин, а миф о нем. Сегодня около трети населения считают Сталина самым выдающимся деятелем в российской истории. И это, кажется мне, одно из незапрограммированных, но неизбежных следствий государственной исторической политики двухтысячных годов.

Поймите меня правильно: я вовсе не считаю, что Путин или его идеологи хотели поднять на щит реальную фигуру Сталина или исторический сталинизм. Они всего лишь искали в советской истории оправдание авторитарному и антидемократическому направлению своего политического курса. Но они выпустили джинна из бутылки. И поэтому вопрос не в их намерениях, а в том, как историческая риторика власти влияла на массовое сознание, на те его компоненты, которую эту власть, собственно, во многом и породили.

Фундаментальная связь между либеральными ценностями и осмыслением исторической трагедии советской эпохи вновь проявилась с предельной ясностью – на этот раз противоположным образом: в виде связи между антидемократической политикой власти и мифологизацией тоталитарного прошлого.

Впрочем, дело не только во власти. Образ Сталина создается в многочисленных книгах и публичных (в том числе и телевизионных) выступлениях литераторов и историков, которых, наверное, правильнее всего назвать «новыми сталинистами».

До начала 2000-х сталинизм – и как политическое мировоззрение, и как оценка определенной исторической эпохи, – никогда не был должным образом отрефлексирован своими адептами. Да и адепты эти со времен Перестройки как-то стеснялись открыто демонстрировать свои воззрения. А сейчас у сталинизма появились не только свои пропагандисты, но и свои идеологи, а сам он, в своем новом качестве относительно внятно артикулированного политического мировоззрения, занял довольно прочные позиции в спектре

российских политических идеологий. Любопытно, что далеко не все «новые сталинисты» - убежденные сторонники коммунистической идеи; наоборот, среди них немало антикоммунистов, воспринимающих Сталина как сокрушителя ленинского большевизма и восстановителя национальной России. Их сталинизм сводится к обоснованию исторической необходимости террора на пути страны к государственному величию (что, кстати, не исключает сожаления о жертвах этой «необходимости»). Главную заслугу Сталина они видят в создании грозной сверхдержавы, наводящей трепет на окружающий мир. В идейном наследии «исторического сталинизма» им дороже всего всевластие государства, националистические тенденции и базовый тезис о «враждебном окружении».

Зачастую современный сталинизм полностью освобожден как от коммунистической, так и от демократической риторики, его главная опора - мифологизированная память о советском прошлом.

* * *

Теперь несколько слов о памяти как таковой, памяти о советском терроре, свободной от тех или иных актуальных политических коннотаций. Куда делась эта память в перипетиях двух последних десятилетий? Исчезла ли она вовсе, или вновь, как во времена Брежнева, ушла в полуподполье, в личные и семейные предания?

Нет, все-таки она не исчезла и не ушла.

Если сравнивать с брежневской эпохой, то самое главное изменение – в том, что память о сталинском терроре перестала быть только приватной.

Она реализовалась

в немногих памятниках и множестве памятных знаков, установленных, в основном, на местах захоронений расстрелянных, и реже – на улицах и площадях городов.

в некоторых музейных экспозициях и – гораздо больше – в работе многих провинциальных музеев по собиранию своих коллекций.

в Книгах памяти жертв, выпускаемых во многих регионах Российской Федерации.

в Днях памяти жертв, ежегодно проходящих 30 октября в большинстве российских городов.

в систематической просветительской работе, организуемой на свой страх и риск сотнями школьных учителей, музейщиков, краеведов, журналистов, и т.д.

в исторических монографиях, в документальных книжных сериях, в сотнях отдельных изданий, во множестве архивных, исторических и краеведческих публикаций – от вполне профессиональных до любительских.

Наконец, она реализовалась в деятельности многих общественных организаций, работающих с проблемами национальной памяти, в том числе десятков региональных отделений общества «Мемориал».

Таким образом, память о сталинизме сохранила за собой определенный плацдарм в публичном пространстве. Что это за плацдарм?

Имя ему – периферия.

Тематическая периферия. Память о терроре сохранялась все эти годы в национальном сознании, но далеко не на первом месте. На первом месте, как я уже говорил – война и Победа. Дальше идут разного рода достижения: превращение страны в ядерную сверхдержаву, полеты в космос, сравнительно благополучная жизнь в годы брежневского застоя. Репрессии, террор – это события третьего ряда, где-то рядом с революцией или гражданской войной.

Географическая периферия: память о терроре оказалась гораздо более укорененной в провинции, нежели в столицах. (Естественно, в первую очередь это касается ссыльно-лагерных регионов: Урала, Сибири, Дальнего Востока, европейского Севера).

Периферия публичности. Самая яркая иллюстрация тому – это как раз те памятники жертвам террора, о которых я только что говорил. Да, они установлены во многих российских городах, но почти везде – не в центре, а на окраинах, чаще всего – на кладбищах.

Наконец, это память, выключенная из мейнстрима советской истории, если понимать под мейнстримом общенациональный исторический нарратив, последовательность общеизвестных событий прошлого, связанную причинно-следственными отношениями.

И к тому же это память, расколота на фрагменты. Это не единая память, а множество разных: память о безвинно пострадавших земляках, память различных этнических, религиозных, социальных, профессиональных групп, оказавшихся объектами террора; между собой эти «памяти» связаны слабо или не связаны никак

Каковы характерные черты этой периферийной, регионализованной, фрагментарной памяти? В основном, эти черты – зеркальное отражение названных мною выше трудностей освоения травматического прошлого: это память о жертвах, а не о преступлениях, память, лишенная нравственных, правовых и даже политических оценок, память *второстепенная*. Немаловажно здесь, что в восстановлении и сохранении этой памяти активно участвует общественность, часто – при поддержке местных администраций. Но федеральная власть в сохранении этой памяти не была замечена *никогда*.

Таким образом, несмотря на то, что память о терроре занимает определенное место в общественном сознании, особенно в региональном, это место таково, что травма остается непреодоленной. Мы живем в мире неподведенных итогов – не только итогов террора, но и итогов советского прошлого в целом.

* * *

Если бы я делал этот доклад не сейчас, а года два назад, то был бы вынужден закончить его на этой меланхолической ноте. Однако, в последнее время ситуация стала меняться.

Неожиданно для многих из нас дискуссия о сталинизме вновь вернулась на авансцену жизни страны, а вместе с ней возвращается в центр общественного внимания и память о терроре.

В прессе вновь появилось множество публикаций, связанных с болезненными точками советской истории – Большим террором, пактом Молотова-Риббентропа, захватом Прибалтики, Катынью; публикаций как антисталинских, так и просталинских.

На телевидении запущен целый ряд дискуссионных проектов, посвященных советской истории; эти передачи вызывают, как утверждают социологи, повышенный интерес телевизионной аудитории.

Возникают инициативные группы, выдвигающие проекты создания общенациональных музейно-мемориальных комплексов, посвященных истории террора и его жертвам; в эти группы входят заметные общественные и политические деятели, ученые, деятели культуры.

Блогосфера российского Интернета заполняется яростными спорами о роли Сталина в российской истории; трудно судить без специальных исследований, но, кажется, здесь преобладает сталинистская точка зрения.

(Интересно, что в этих спорах подавляющее большинство защитников Сталина уже не пытается опровергать сам факт террористических кампаний; спор идет не о фактах, а об интерпретациях и оценках событий).

Широко обсуждаются новые школьные учебники истории, в них, наконец, уделено заметное место теме сталинизма и террора; к сожалению, основной пафос этой учебной литературы состоит в оправдании сталинизма, как якобы безальтернативного пути исторического развития страны.

Но самое любопытное – это то, что первые лица государства вдруг начали позиционировать себя в качестве «антисталинистов». В 2009, в День памяти жертв политических репрессий, Медведев выступает в своем блоге с резким осуждением сталинского террора. В 2010 то он, то Путин наперебой высказываются по ряду острых проблем советской истории в довольно определенном антисталинском духе, а Медведев осуждает попытку московских властей вывесить в столице ко Дню Победы портреты генералиссимуса и публично называет Сталина преступником. Более того, есть некоторая надежда, что в самое ближайшее время последуют еще какие-то высказывания, а может быть, и какие-то практические действия Медведева.

Что произошло? Позволю себе высказать некую гипотезу.

Представление о «счастливом прошлом», зародившееся в недрах массового сознания в середине 1990-х и более или менее последовательно культивировавшееся государственной властью в 2000-2007 году неразрывно связано, как я уже сказал, с представлением о «порядке» и о «сильном государстве» как главной святыне, занимающей верхнее место в иерархии национальных ценностей. И до поры до времени эти представления работали на правительство, делая популярными его усилия по ограничению политической свободы и институтов политической демократии в России.

Но идеалы нынешней российской политической элиты вовсе не совпадают с историческим сталинизмом. Цель нынешней элиты – это всего лишь успешное функционирование авторитарного режима, обеспечивающего целостность политической власти (но, желательно, с сохранением имитационных институтов демократии) , устранение внешней конкуренции в борьбе за эту власть, т.е., фактическая ее несменяемость, контроль за бизнесом и финансами, управляемость регионов. Не более того. Если говорить об исторических образцах, то путинский режим гораздо ближе к эпохе Брежнева, чем к сталинской диктатуре с ее массовым террором.

А у значительной части населения ностальгия по советскому прошлому активизирует иные мировоззренческие клише, которые куда ближе к сталинизму, чем даже самые энергичные этатистские тенденции в политике Путина-Медведева. Нет, никто не тоскует по массовому террору. В головах у людей другое: сакральный образ вечной и великой Российской державы, внутри которой царят порядок и справедливость, и которая вызывает трепет и почтение у внешнего мира. И естественным продолжением этого умонастроения становится радикальный и агрессивный национализм, который ведь тоже заметно присутствовал в историческом сталинизме на позднем этапе его существования. Конечно, эти настроения подкреплялись чеченской войной.

Поучительна в этом плане история нового государственного праздника – Дня народного единства, установленного в 2004 и празднуемого ежегодно 4 ноября, якобы в ознаменование изгнания польских интервентов из Москвы русским народным ополчением в 1612 году. Скорее всего, учреждая этот праздник, путинские идеологи пытались убить двух зайцев одновременно. Во-

первых, они хотели вытеснить из народного сознания «коммунистический» праздник 7 ноября – годовщину Октябрьского переворота 917-го года. Во-вторых, как известно, изгнание поляков подвело черту под недолгим, меньше десяти лет, но крайне катастрофическим периодом российской истории – народу он запомнился как Смутное Время. Поэтому новый праздник призван был также родить очевидную ассоциацию с окончанием «лихих девяностых», как стало принято сейчас именовать ельцинскую эпоху, и «вставанием России с колен» в двухтысячные годы в связи с приходом к власти Путина!

Не тут-то было! Изю всех возможных трактовок этого праздника массовое сознание выхватило одну-единственную трактовку – патриотически-ксенофобскую. Праздник был принят как свой радикальными националистами, которые моментально истолковали его как День Победы над иноверцами и инородцами и теперь ежегодно устраивают в этот день марши в российских городах, создавая властям дополнительную головную боль.

Поначалу адепты «национал-сталинизма» поддерживали Путина: его чекистское прошлое, его агрессивная риторика, его шаги по ограничению демократии и свободы – все это вселяло в них надежду, что этот лидер может стать «Сталиным сегодня» и направить страну на правильный путь. Но, по мере того, как становились ясны внутренние ограничения, присущие путинизму, в про-сталинистски настроенных людях нарастало разочарование. Нет, это не Сталин; или, может быть, это и Сталин, но какой-то некачественный, бракованный. Он вовсе не такой антизападник, каким хочет казаться, вовсе не так бескорыстен – все знают, что он далеко не беден, при нем цветут коррупция и всевластие чиновников, чего, как кажется многим, не было в сталинское время. Сегодня сталинистские умонастроения толкают людей в оппозицию путинскому режиму не в меньшей, а, возможно, в большей степени, чем умонастроения либеральные и демократические. В особенности это касается радикальных националистов, которые и раньше поддерживали Путина лишь условно. Имя Сталина становится знаменем для заметной части радикальной оппозиции режиму. На сталинистской платформе националисты смыкаются с собственно коммунистической оппозицией, для которой сталинизм – базовая идеология и внутри которой также сильны националистические настроения.

Джинн, выпущенный из бутылки лишь для того, чтобы помочь справиться с российской демократией, обращается против тех, кто его выпустил. Как и должно было случиться.

Моя гипотеза состоит в том, что некоторое время назад часть наиболее понимающих ситуацию представителей элиты пришла к выводу, что опасность, которую представляет для их власти смычка сталинистов с националистами, во всяком случае не менее серьезна, чем призрак «оранжевой опасности» (после украинских событий 2004 года это выражение стало в российском политическом языке синонимом угрозы возвращения к власти демократов), которой они долгое время запугивали себя и население. Поняв это, они сочли нужным внести коррективы в государственную историческую политику.

Отсюда и публичные жесты Путина и Медведева, позиционирующие их как противников исторического сталинизма. От этого, конечно, еще очень далеко до последовательной исторической политики, направленной на осмысление сталинизма и преодоление его наследия – но, скорее всего, оба российских лидера и не ставили перед собой такие задачи создания такой политики. Смысл этих жестов – в том, что они являются сигналами, адресованными государственным чиновникам и национальной элите в целом. Послание, заключенное в них, можно прочесть так: «Те, кто сегодня воспекает Сталина, не являются нашими сторонниками. Они – оппозиционеры, и не вздумайте к ним примкнуть, ибо тогда вы тоже будете рассматриваться как оппозиционеры». Это – не что иное, как политическое размежевание с лагерем радикально-охранительным.

Возможно также, что эти сигналы одновременно были адресованы и демократической оппозиции: «Есть вопросы, в которых мы с вами придерживаемся одинаковых воззрений – так что не перегибайте палку в своей антипутинской и антимедведевской риторике». Если это так, то здесь Медведев с Путиным вряд ли достигли своей цели: даже резкое осуждение исторического сталинизма – условие необходимое, но далеко не достаточное для того, чтобы вызвать симпатии в лагере «актуального политического антисталинизма», т.е., среди людей либеральной и демократической ориентации. Для этого нужно, как минимум, перестать разгонять дубинками оппозиционные митинги, выпустить из тюрьмы Ходорковского и других, хотя бы обозначить как цель

восстановление политической конкуренции в стране. Несомненно, критика сталинского террора Путиным и Медведевым имела и внешних адресатов. Несмотря на то, что нынешние российские руководители, укрепляя свою власть, не стеснялись прибегать к изоляционистской антизападной риторике, они всегда старались более или менее дистанцироваться от наиболее одиозных форм этой риторики, поскольку на самом деле внешнеполитическая изоляция России в их намерения совсем не входит. Зарубежными адресатами осуждение сталинского террора должно было быть прочитано следующим образом: «Мы – такие же европейцы, как и вы, и не считайте нас какими-то монстрами, которые поклоняются кровавому диктатору».

Наконец, нельзя исключить, что лично Путину и лично Медведеву сталинский террор крайне несимпатичен. Так что они просто дожидались момента, когда осуждение сталинизма станет политически выгодным для них и теперь сочетают полезное с приятным.

Сказанное – попытка объяснить неожиданную антисталинскую риторику Кремля. На общественные настроения эта риторика уже мало влияет. Имя Сталина по-прежнему объединяет коммунистов и крайних националистов; завтра его могут поднять на щит еще какие-нибудь политические силы. Ясно одно: сталинисты всегда будут составлять более или менее сплоченную политическую группу, заведомо враждебную идеям свободы и политической демократии.

Единственное, что действительно произошло здесь в последние годы - это определенная консолидация сторонников свободы и демократии на почве антисталинизма, изрядно ими подзабытого в течение 1990-х. Оно и понятно: советская история вновь стала полем политических сражений. И защитники свободы, во многих отношениях политически разобщенные, вновь соединяются вокруг общей задачи - преодоления сталинского наследия.

Противостоящие общественно-политические силы поднимают старые знамена.

Как долго будет продолжаться это противостояние? Точнее: как долго две противостоящие друг другу системы общественно-политических ценностей будут именовать себя «сталинизмом» и «антисталинизмом»? Мне кажется, что

российская ситуация такова, что антагонизм между «сталинизмом» и «антисталинизмом» останется системообразующей антиномией в российской политической жизни по крайней мере еще на несколько десятилетий. В этом случае памяти об историческом сталинизме суждено еще долгое время оставаться проблемной и политически заостренной памятью. И каждый раз, когда период оттепели будет сменяться заморозками — вопрос о сталинизме будет становиться «последним рубежом» защиты свободы и демократии.

Наконец, последнее.

В европейском интеллектуальном пространстве иногда можно столкнуться со скепсисом и сомнением относительно значения работы с исторической памятью для развития свободы и демократии в обществе. Выказываются предположения, что дело обстоит как раз противоположным образом: развитие свободы и демократии должно предшествовать осмыслению травматического прошлого, а не наоборот. Укоренение демократических ценностей в национальном сознании может происходить и без обращения к этому прошлому. Чтобы развивать общественную свободу, не обязательно заниматься переосмыслением национальной истории — вполне можно обойтись и без этого.

Возможно, скептики правы, и их замечания верны в отношении многих стран мира. Но не в отношении России.

Именно это я и хотел показать в своем выступлении.

Спасибо за внимание.